

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Индивидуальность ничем нельзя объяснить, потому что даже бесконечный причинный ряд каждый раз объясняет в индивидуальности какую-нибудь одну ее сторону. Индивидуальность объяснима только из себя самой. Даже Демокрит, впервые пожелавший изобразить индивидуальности, представил их как неделимые атомы. Поэтому все, что я буду сейчас говорить о себе, только частично, только односторонне. Вероятно, только художники могут если не объяснить, то по крайней мере хотя бы отчасти изобразить личность.

Отец, сначала народный учитель, а потом учитель гимназии по физике и математике, был страстный музыкант, виртуоз, скрипач и дирижер оркестров. Однако он скоро бросил учительство и погрузился в богемную жизнь бродячего и вечно странствующего музыканта. Его богема ко мне не перешла. Но ко мне перешел его разгул и размах, его вечное искательство и наслаждение свободой мысли и бытовой несвязанностью ни с чем. Эта полубогемная стихия отца столкнулась со строгими и моральными установками матери, с ее полной погруженностью в старый устойчивый быт и в этом смысле с бытовым и общественным консерватизмом. Так эти две стихии и остались во мне на всю жизнь, переплетаясь и смешиваясь самым причудливым образом.

В приходском училище, куда отдала меня мать в семь лет, я был одним из первых учеников. Но, поступивши после этого в гимназию, учился до шестого класса (по теперешнему счету это восьмой класс) довольно посредственно. Из первого класса во второй я перешел с похвальной грамотой. Но во втором классе никак не мог понять деление дробей, получал двойки и только с помощью репетиторов едва-едва перешел в третий класс.

Когда я был в третьем классе гимназии и мне было 12 или 13 лет, разразилась революция 1905 года. Всякий научный и литературный работник, имевший в эти годы такие же ощущения, как и я, стал бы хвалиться столь ранними революционными настроениями. Хвалиться я этим не буду, потому что хвалиться тут нечем, и ни о какой революции в те годы я не помышлял. Но если перечислить главнейшие настроения своей жизни, то я должен сказать, что этот третий год моего обучения в гимназии принес с собой чувство какой-то небывалой свободы. Меня, окруженного тогда устойчивым семейным бытом и строгим гимназическим уставом, необычайно волновали эти бесконечные толпы народа, которые с раннего утра и до позднего вечера двигались по всему городу, эти крики и песни, эти речи ораторов, это напряженное состояние населения, доходившее до драк и ранений. Кто-то носил по городу портреты, в которых я ничего не понимал. Все время в городе происходили какие-то столкновения на улицах, слышались постоянный шум и гам, разные хоры и оркестры, свистки, гудки, не то смех, не то слезы, стояли повсеместный сумбур и неразбериха. А главное — это прекращение занятий в гимназии, быстро водворившееся среди учеников разгильдяйство и праздное шатание. В гимназию приходили какие-то агитаторы и говорили о чем-то таком, в чем я никак не разбирался. Однажды, собравшись в гимназическом саду, гимназисты торжественно сожгли учебник латинской грамматики Никифорова. В этом сожжении я не участвовал, но стоял рядом со многими другими и радовался неизвестно чему. В душе пылали какие-то восторги, но в чем они состояли, какие были причины и цели и что нужно было делать дальше после сожжения грамматики и уличного разгильдяйства, ничего этого я не знал. А вот что не нужно было учиться, что прекратилось движение поездов, что стали закрываться магазины, что учреждения прекратили работу, — все это было почему-то приятно, почему-то приятно волновало. Да даже не просто волновало, а наполняло голову и грудь каким-то бешеным восторгом. А почему, неизвестно. Могу сказать только одно: для новой жизни нужен новый воздух, нужны восторги и слезы, необходимо прыгать и скакать, а не сидеть на месте. Хотелось драться и орать, совершенно не отдавая себе в этом никакого отчета. Таких волнений, которые я безрассудно переживал в 12 лет, я потом в жизни уже никогда не имел. И когда пришла настоящая революция, то даже и те ее многочисленные свойства, которые я считал положительными, я уже не мог переживать столь безрассудно и мальчишески, а воспринимал это обдуманно и критически. Но своих безрассудных волнений в 12 лет забыть не могу. Что-то есть в них эдакое правильное. Но что именно, это мне еще и теперь трудно проанализировать.

Я рано начал учиться играть на скрипке и параллельно с гимназией умудрился даже пройти музыкальную школу. Это во мне играла отцовская стихия. Но музыканта из меня не получилось. Скоро нагрянула на меня другая стихия, о которой я сейчас скажу. Она быстро и воочию показала, что я — углубленный любитель музыки, получивший от природы дар довольно разносторонне в ней разбираться. Но от природы я не получил самого главного в этой области, а именно — дара музыкального исполнительства, которое заставило бы меня относиться к своей скрипке как к жизненному делу. Еще в первые годы студенчества я кое-как пикировал на скрипке и даже участвовал в ансамблях. Но потом скрипка ушла от меня навсегда, и я даже не стал держать дома этот инструмент. Мое расхождение со скрипкой было большим делом. Я и сейчас отношусь к ней как к злой, коварной и неблагодарной жене, с которой только и можно что развестись. Иные разводятся со своими женами довольно сдержанно, спокойно и даже с улыбкой. Но я со своей скрипичной женой развелся злобно, мрачно, с загаенной жадной мести, со страстными упреками по адресу природы, приведшей меня к такому огромному и незаслуженному недоразумению.

До 6-го класса гимназии я, повторяю, учился кое-как. Но в 6-м классе гимназии я, выписывавший в то время журналы «Вокруг света», «Природа и люди» и «Вестник знания», получил в качестве приложения к одному из этих журналов сочинения известного тогда французского астронома и беллетриста Камилла Фламариона. Этот астроном, влюбленный в свое звездное небо, оказался, кроме того, еще и талантливым беллетристом, который и своих героев тоже рисовал астрономами, влюбленными в небо и на этой почве влюбленными друг в друга. Фламарион писал возвышенно, но очень понятно, научно, но очень доступно и приятно. Я стал изучать также и его чисто астрономические сочинения. Молодой человек стал метаться между древними языками в гимназии, скрипкой в музыкальной школе и постоянными наблюдениями за движением небесного свода с помощью довольно сильных биноклей.

Астрономическое небо было тем первым образом бесконечности, за которым не замедлили появиться и другие ее образы. И вообще термин «бесконечность» в течение всей моей жизни звучит как-то особенно радостно, вдохновенно

и обязательно сердечно. Один из моих товарищей сказал мне однажды: «При слове "бесконечность" ты начинаешь вести себя как легавый пес, который заметил, что его хозяин снимает ружье со стены и собирается на охоту, которая ему, псу, даже более приятна, чем его хозяину, и захватывала его еще больше, чем хозяина». А другой товарищ, присутствовавший при этом разговоре, сказал: «Нет, Алексей, — это не легавый пес, а боевой конь, который тоже страстно волнуется и трепещет при звуке военной трубы». Мои приятели, конечно, баловались. Но если отбросить шутки в сторону, то совсем нешуточным было их убеждение, что бесконечность в любых ее смыслах, и в научно-математическом, и в философском смысле, была для меня подлинной реальностью, включая сюда и многие мои бытовые переживания.

Бесконечность и сейчас представляется мне какой-то золотистой далью, может быть, слегка зеленоватой и слегка звенящей. Сначала я еще не понимал, что бесконечность можно понять в подлинном смысле только в ее диалектическом единстве с конечной областью. Но надо сказать, что здесь мне очень рано и скоро повезло.

Именно, какими-то неведомыми судьбами в мои руки попали сочинения Владимира Соловьева. Это было еще до моего перехода в последний класс гимназии, потому что при этом переходе я был награжден восьмитомным собранием сочинений этого философа (тогда это было еще 1-е издание, не 10-томное, которое вышло в дальнейшем). А я был еще до того знаком с Вл. Соловьевым. И когда директор гимназии спросил меня, какие книги я хотел бы иметь в качестве наградных, то я назвал именно Вл. Соловьева, мне уже достаточно известного. Другими словами, в свои 17 лет я подробнейшим образом штудировал этого не очень легкого философа и многое в нем понимал не так уж элементарно. Правда, в те годы я по преимуществу был знаком с теоретическими трудами Вл. Соловьева, с той его отвлеченнейшей диалектикой, которую он проводил в «Кризисе западной философии (против позитивистов)», в «Философских началах цельного знания» и в «Критике отвлеченных начал». Еще мне нравились его литературно-критические статьи о Пушкине, Тютчеве, Фете, Полонском и Лермонтове. Впрочем, относительно Лермонтова против соловьевского понимания я глубоко восставал. Все сочинения Вл. Соловьева общественного, политического, исторического и конфессионального содержания в те времена оставались для меня совершенно неизвестными, и не столько по существу моих интересов, но просто из-за физической для меня невозможности охватить в те годы все 8 томов Вл. Соловьева. И вот этот-то Вл. Соловьев как раз и оказался моим первым учителем в диалектике конечного и бесконечного. То и другое для него было только абстракцией, только «отвлеченными началами», а подлинная реальность — вовсе не просто бесконечность или просто конечность, но то, в чем они неразличимо совпадают. Именно под влиянием Вл. Соловьева это и стало для меня на всю жизнь первоначальной азбукой всякого философствования. Впоследствии я научился довольно ловко и просто оперировать этими диалектическими противоположностями. Ведь существует же непрерывность, хотя бы во времени или в пространстве. Да, обязательно существует. Но если бы существовала только одна непрерывность, мы ничего не могли бы различать и все предметы слились бы для нас в один нерасчленимый и серый туман неизвестно чего. Значит, должна быть также и прерывность. Но как же соединить прерывность и непрерывность? А это очень просто. Возьмите такую категорию, как движение. В движении тела имеются и конечные точки, которые оно проходит, и непрерывность самого движения по этим точкам. Так же вот и бесконечность очень легко и просто объединяется и не может объединяться с конечным. И тут дело вовсе не в мечтах и не в художественных образах, а все дело здесь только в здравом смысле. Какой бы величины отрезок прямой я ни взял, пусть хотя бы самый малый, я все равно могу производить это деление до бесконечности и никогда не получу настолько малого отрезка, чтобы он уже был равен нулю.

Вспоминая эти свои гимназические годы (1903—1911), не могу не вспомнить как своего постоянного и обширного литературного чтения, так и своего завязанного интереса к театру. Глубокое впечатление на всю жизнь оставили трагедии Шекспира и Шиллера, пьесы Чехова, Метерлинка (особенно «Сокровище смиренных»), Ибсен (особенно «Бранд» и «Потонувший колокол»). В гимназии у меня был прекрасный преподаватель литературы (он же директор гимназии) Федор Карпович Фролов. Кроме общей и обязательной программы по литературе, он умудрялся потрясать своих учеников талантливо-исполнительским чтением Эсхила, Софокла, Еврипида, Данте, «Фауста» Гете и многого из Байрона. Сейчас этому никто не поверит, но мы, тогдашние мальчишки 15-17 лет, декламировали наизусть целые сцены из «Ада» Данте и из «Фауста» Гете. Наш учитель литературы поразительным образом совмещал декламаторский талант и старательнейше развитую способность просто и ясно анализировать для незрелых мальчишек такие образы, как Антигона или Гамлет, и такие детальные конструкции, как строение космоса у Данте и особенно каждую из его 9 ступеней.

С любовью вспоминаю я также своего гимназического учителя истории Николая Павловича Попова. Это был человек средних лет, получивший огромное образование и самообразование благодаря своей бесконечной любви и к старым, и к новейшим книгам. Он окончил Московский университет и был учеником Ключевского. От Ключевского к нему перешла и широта исторического размаха, и умение подать источники в популярном и увлекательном виде, и способность в яркой художественной форме рассказывать о давно минувших эпохах и об отдельных исторических деятелях.

Однако самого главного из своей школьной жизни я еще не назвал. Это был преподаватель древних языков Иосиф Антонович Микш, чех по национальности, окончивший (вместе со своим другом знаменитым Ф. Ф. Зелинским) университет в Лейпциге, много переводивший с русского языка на чешский и в те времена видный литературный деятель Чехии, в которой он обычно проводил все свои летние каникулы. Это был прежде всего энтузиаст своего дела. Но главное заключалось в том, что он умел заражать своих учеников и вселять в них романтическую нежность ко всем этим героям античности, от которых нас отделяет полторы, две и две с половиной тысячи лет. Под его влиянием, как я теперь думаю, к периоду окончания мною гимназии я уже отошел от астрономических восторгов, уже подумывал бросить скрипку и уже отдалялся от мысли специализироваться на всеобщей литературе. Одного только не мог преодолеть во мне этот симпатичнейший энтузиаст в области классической древности — интереса к философии, который стал проявляться во мне какими-то непонятными для меня фонтанами еще под влиянием Фламариона. Так

оно и получилось в момент окончания мною гимназии в 1911 году. Я уже был готовый философ и филолог-классик одновременно. Так оно и осталось на всю жизнь. В Московский университет я поступил в 1911 году одновременно на философское отделение и на отделение классической филологии историко-филологического факультета. Эти два отделения я и окончил в 1915 году. И природа, сманившая меня на эти два пути, тут же указала ту область, в которой обе эти науки сливаются до полной неразрывности. Эта область — история античной философии. Тут нужно много заниматься и древними языками, и четко ориентировать себя среди хотя бы основных философских направлений, без какой-либо ориентации решительно всякие занятия античной философией совершенно напрасны и являются только пустой проволочкой времени. Всяких интересов у меня всегда было очень много. Но, просматривая теперь список печатных работ, я на склоне своих лет должен признать, что никакой науке, никакой литературе и никакой философии я не отдавал столько времени и жизни, сколько истории античной философии.

Замечу, что я не оратор и не актер, что я этим искусствам никогда не обучался и даже никогда к ним не стремился. Я, конечно, старался тщательно продумывать само содержание своих лекций и докладов. Но мне никогда и в голову не приходило заранее обдумывать способы произнесения или какие-нибудь интонации. Когда я становлюсь на кафедру, мною сразу же начинают овладевать какие-то метафоры, какие-то интонации, о которых я сам предварительно не имею ровно никаких намерений. По-моему, если мысль — чистая, продуманная до конца и простая, она сама находит для себя нужные способы своего словесного выражения. А как это делается, признаться сказать, у меня к этому даже нет никакого интереса.

4 апреля 1981 г.